

ДМИТРИЙ ГЛУХОВСКИЙ

Издательство «АСТ»
представляет книги
Дмитрия Глуховского

БУДУЩЕЕ
МЕТРО 2033
МЕТРО 2034
МЕТРО 2035
РАССКАЗЫ О РОДИНЕ
СУМЕРКИ
ТЕКСТ

glukhovsky.ru

ДМИТРИЙ ГЛУХОВСКИЙ

ТЕКСТ ТЕКСТ

роман



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Г55

*Любое использование материала данной книги,
полностью или частично,
без разрешения правообладателя запрещается.*

Оформление обложки — *Илья Яцкевич*

За помощь в работе над романом автор благодарит
Владимира Ивановича, Александра Ч., Андрея Б.,
Сергея Х. и Ларису Смирнову

Глуховский, Дмитрий Алексеевич.

Г55 Текст: [роман] / Дмитрий Алексеевич Глуховский — Москва: Издательство АСТ, 2017. — 320 с. — (Бестселлеры Дмитрия Глуховского).

ISBN 978-5-17-103521-1

«Текст» — первый реалистический роман Дмитрия Глуховского, автора «Метро», «Будущего» и «Сумерек». Эта книга на стыке триллера, романа-нуар и драмы, история о столкновении поколений, о невозможной любви и бесполезном возмездии. Действие разворачивается в сегодняшней Москве и ее пригородах.

Телефон стал для души резервным хранилищем. В нем самые яркие наши воспоминания: мы храним свой смех в фотографиях и минуты счастья — в видео. В почте — наставления от матери и деловая подноготная. В истории браузеров — всё, что нам интересно на самом деле. В чатах — признания в любви и прощания, снимки соблазнов и свидетельства грехов, слезы и обиды. Такое время.

Картинки, видео, текст. Телефон — это и есть я. Тот, кто получит мой телефон, для остальных станет мной. Когда заметят, будет уже слишком поздно. Для всех.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

© Д.А. Глуховский, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2017

1.

Окно показывало смазанные ели, белый шум ноябрьской пурги; телеграфные столбы мельтешили, как поползшие рамки кадра в черно-белом кино. Показывали в окне Россию, которая от самого Соликамска вот вся такая была: елки, снег, столбы, потом прогалина с пришибленными избами, потом вокзал с силикатными авитаминозными двухэтажками, и опять — елок миллион густо и непроходимо натыкано вдоль путей — как колючкой обвито, не продерешься. Но в этой нескончаемости и одинаковости природной застройки заоконной России и были вся ее мощь, величие и красота. Красотища, бляха!

— И что будешь делать?

— Жить буду. А ты что бы сделал?

— Убил бы его.

— Ну вот. А я его простил. Я пожить теперь хочу. Можно мне еще телефон на секунду? Мать не подходит что-то.

* * *

Ярославский вокзал шибал свежестью и тепловозной гарью. После прокисшего плацкартного пара, после прокуренного железа тамбуров, подслащенного мочой, — тут воздух был слишком огромный: кислорода чересчур, и он сразу цифирем бил в голову.

Москвы тоже было слишком, после елочных коридоров она приезжим распахивалась как космос. Укутанные люди прыгали из вагонов через ров на платформу, выгружали перехваченные липкой лентой сине-клетчатые китайские баулы, хватали их в обе руки и разгонялись по перронам в перспективу, как штурмовики на взлет по аэродромным полосам. Перспектива была дымной, и в дымке приехавшим людям брезжили дворцы, замки и высоты.

Илья больше других не спешил, в потоке не греб — давал себя нести. Нюхал московское небо, присматривался отвыкшими глазами к дали, удивлялся молча. Было ярко, как в детстве. Тусклая ноябрьская Москва резала глаза.

Приехать он в Москву приехал, но попасть еще не попал. Вокзал был еще пока территорией окружной, просоленной и засаленной России. Как бангладешское посольство является во всех смыслах территорией государства Бангладеш.

В конце платформы было сделано сито. Илья его уже издали привычно разглядел поверх чужих голов. Серая форма, отъеденные морды, глаза рыщущие, цепкие. Наметанные. Раз, раз, раз. И даже собака служебная на цепи: полное сходство. Тут, понятно, она не для того. Тут она просто нюхает себе наркотики, взрывчатку, наверное. Но ведь она и страх может унюхать.

Илья стал смотреть в пустоту, чтобы мимо цепких глаз, чтобы не примагнититься к ним. Стал думать ни о чем, чтобы ничем не пахнуть.

— Молодой человек!

Он тут же застыл послушно. Как они его узнали? По оттенку кожи? По ссутуленной спине? По голове пригнутой? Как собака зверя узнает?

— Подойдите. Документы.

Он отдал паспорт. Листнули на прописку, цыкнули.

— Откуда возвращаетесь?

Врать или правду говорить? Не будут же они проверять. Ездил... Ездил куда-нибудь. Отдыхать. К бабке. В командировку. Как они проверят?

— Отбывал. Наказание.

— Справку об освобождении.

Сразу другим тоном с ним. Хозяйским.

Достал ему справку. Лейтенант отвернулся с ней, побурчал в рацию, послушал, что ему в ответ побурчали; Илья стоял молча, не спорил. Все у него было чисто. От звонка до звонка: в УДО отказано.

— Перевоспитался, Илья Львович? — лейтенант наконец обернулся к нему, но справку не возвращал, зачем-то складывал ее пополам.

Москва отъезжала вдаль за его спиной, кукожилась, небо ее мелело и сворачивалось; гам людей и рык машин глохли. Лейтенант своим пузом, своей пятнистой грудиной, своей харей замещал всю Москву. Илья вроде бы знал: ничего он ему не сделает. Просто нужно сейчас ему дать, позволить почувствовать власть. И его тогда отпустит, а он отпустит Илью. Он тут за этим стоит, за этим на службу пошел.

— Так точно, гражданин начальник.

— Следуешь к месту проживания?

— В Лобню.

— Адрес по прописке?

— Деповская, дом шесть.

Лейтенант сверился с паспортом, смяв без необходимости попутные страницы. Был он, наверное, такого же возраста, как и Илья, но погоны делали его старше. Хотя это Илье, а не ему, последние семь лет каждый год за три шел.

— Домой едешь. Имеешь право, — хмыкнул он. — Двести двадцать восьма-ая, — прочитал он. — Точка один. Это что? Точка один. Напомни.

— Приготовление. И сбыт. У меня только подготовка к сбыту, гражданин начальник.

Илья смотрел ему чуть пониже подбородка — есть такая особая точка, куда следует смотреть сотрудникам во время разговора. Не в глаза и не в пол.

Мусор тянул время, ему нравилось, что он может время гнуть, как проволоку.

Тут собака вдруг взлаяла на загнанного таджика с клетчатой, как у всех, сумкой.

— Ладно. На учет не забудь встать. — Лейтенант сунул Илье его справку. — И не торгуй больше.

Илья кивнул, отошел в сторону, убрал бумаги во внутренний теплый карман, где и сам отсиживался, пока допрос длился. Лейтенант уже увлекся таджиком, таджик был более перспективный.

Просеялся.

Контуженный мир помаленьку пришел в чувство, начал разговаривать.

Но теперь, подойдя к Москве поближе, Илья видел в ней везде только то, чего издалека, из поезда было не разглядеть: ментов. На вокзальной площади, у входа в метро, в павильонах и на станциях. Стаями, все с овчарочьими глазами. Хотя, может, это не в Москве было дело, а в Илье.

* * *

Забирали его из лета, выпустили в самый конец осени. И Москва, в которую его выпустили, не была похожа на ту, из которой его забирали.

Москва стояла сейчас как голое ноябрьское дерево — влажная, темная; раньше вся она была обросшая яркими вывесками, киосками для торговли чем попало — а теперь посуровела, стряхнула с себя разноцветицу, разделась до гранита.

А Илья обожал ее раньше, когда она притворялась сплошным галдящим базаром — ему казалось, что на этом базаре он сможет купить себе любое будущее. Он приезжал тогда в Москву из своей Лобни электричкой — в университет, в клубы, на концерты — и каждый раз воображал себе себя москвичом. Надо было только доучиться, найти работу в центре и снять с друзьями квартиру. В Москве земля была волшебная, удобренная гормонами роста: ткну в нее свои желания — вырастут и работа денежная, и модные друзья,

и девушки самые красивые. Москва и сама была от себя пьяная, и всех своим хмелем угощала. В ней все было возможно. И от Москвы не убыло бы, если б Илья отщипнул от ее пухнувшего сладкого теста свой кусочек счастья.

А сейчас она как будто ему снилась — она ведь часто снилась ему там, на зоне. Она стала строже и прилизанней, серьезней, официальнее — и выглядела от этого по-понедельничному похмельной. Он узнавал ее и не узнавал; чувствовал себя в ней чужим, туристом. Туристом из Соликамска, и еще из прошлого.

Немного постоял на площади трех вокзалов: среди других обалдевших иногородних его, приезжего из зоны, тут было не так заметно. Можно было сделать вдох и проморгаться.

Проморгался и пошел.

Он ступал по Москве осторожно, чтобы она от слишком широких взмахов и слишком уверенных шагов и в самом деле не оказалась бы сном и не рассеялась бы; чтобы не очнуться от нее в масляной серой тюремной хате, в зябкой духоте, среди шконок и тычущихся в тупик жизней, в запахе носков и вечном страхе ошибиться.

Но Москва стояла надежно. Она была взаправду и навсегда.

Его освободили. Точно освободили.

Илья купил на предпоследние деньги билет в метро и поехал под землю. Ему навстречу конвейером вынимало из недр московских людей — и тут можно было посмотреть им на лица. Люди за семь лет успели приодеться, даже таджики. Вперед и вверх они глядели решительно, многие взбирались по ступеням, не могли дотерпеть полминуты: наверху безотлагательные дела. Москвичи очень спешат жить, вспомнил Илья. А колония безвременью учит.

Из всех встречных — а там были и обнимающиеся любовно старики, и поп в телефоне, и не сдающийся возрасту панк — Илья запомнился только о женщин. Так он за эти годы отвык от них. Так забыл, до чего они на людей не похожи, до чего их прекрасней!

И если вдруг одна из них отвечала Илье на его взгляд своим взглядом, то он за эту ее блесну цеплялся, и она рвала и тащила его в свой противоток — за собой, на поверхность.

Потом какая-то поморщилась, фыркнула неслышно, и Илья сразу осел, сжался: ведь они в нем могут понять недавнего арестанта. У него на лбу это написано сизым, бритвой вырезано на землистой коже. Куртка на нем сидит как роба. Женщины чувят опасность в мужчине, чувят голод и ненадежность — это в них звериное, безошибочное.

Дальше Илья за ними подглядывал исподтишка, стеснительно, чтобы больше никто его не разоблачил. Подглядывал — и в каждой искал сходство с Верой. Само собой так получалось.

Вере он решил ни за что не звонить.

Простить ей все и не звонить ей. Разговор этот ничего не даст ему, даже если она и согласится на разговор. Голос ее услышать только? Зачем. Он сам с собой уже столько раз все за нее проговаривал по ролям: и вопросы, и ответы. Уговоры, упреки. Воображаемая Вера всегда ускользала.

Настоящая Вера все ему разъяснила одним звонком, на второй уже год. Извинилась, как могла покаялась. Сказала, что не хочет врать. Что встретила человека. Что имеет право быть счастливой. Повторила это, как будто Илья с ней спорил. А он с ней при людях спорить не мог.

Не навещала его ни разу.

Поэтому он спорил с Верой воображаемой — еще пять лет. Но и воображаемую Веру не мог переубедить.

В вагоне метро он мог людей разглядывать безбоязненно, даже сидящих ровно напротив. В вагоне он никому не был нужен: все утопи в своих телефонах. Тетки крашенные крашеными ногтями, раскосые гастарбайтеры — мозолями, школьники своими пальчиками-спичками, все разгребают в экранах что-то, у всех какая-то внутри стеклышек другая более настоящая и интересная жизнь. Раньше смартфоны были только у продвинутых, у молодых. А пока Илья сидел, сделали и басурманский интернет, и для стариков свой какой-то, и для молокососов.

У них на хате был один только телефон. Конечно, не у Ильи. Илье приходилось выторговывать себе секунды звонков и минуты во

Вконтакте за сигареты из маминых передач. Деньги бы отобрали сразу, а сигареты только ополовинивали, когда потрошили посылку: пошлина. И связь была дорогая. Так что и секунд маминого голоса, и минут на Вериной страничке оставалось — в обрез. Хотя Вера туда фотографий почти не выкладывала, одни ссылки на клипы какие-то, на личностные тесты, на бессмысленную дрянь. Может, понимала, что Илья из тюрьмы смотрит на нее, и не хотела, чтобы видел.

И все-таки Илья иногда выкраивал себе немного времени, чтобы на Суку посмотреть. Как там у него. Как жизнь идет. Как звания растут. Как он в Тае отдыхает. Как в Европе. Какой «Инфинити» он себе купил. Каких девушек обнимает.

Жизнь у Суки шла парадно. У Ильи горло крючьями драло, когда он Сучьи фотографии разглядывал; сердце ножом скоблило. Не мог смотреть на это — и не смотреть не мог: как человек вместо него живет.

А на остальную часть мира Илье уже трафика не хватало. В долг на зоне попадать было нельзя, там вся жизнь была только в дебет.

Ничего, привык без телефона. Хотя до посадки только о нем и мечтал, матери за год на день рождения заказывал, в универе на парту выкладывал сразу, как приходил на пару, чтобы девчонки восторгались диагональю экрана.

Это не самое еще такое, к чему там привыкать пришлось.

Вышел на Савеловской.

Опять менты. Всюду менты.

Через Третье кольцо медленно проворачивали миллион автомобилей, фары горели днем, грязь из-под колес была взвешена в воздухе, люди выкипали из подземных переходов, Москва ворочалась и дышала. Живая. Илье хотелось трогать ее, трогать все подряд, гладить. Он семь лет хотел потрогать ее, Москву.

— Мне до Лобни.

Электрички поменялись сильно.

Он их помнил замызганными, зелеными, с исцарапанными стеклами, с изрисованными боками, с деревянными общими скамейками, пол в подсолнечной шелухе, пиво пролитое испаряется медленно,

и все этим пивом пропахло. А теперь: белые новые поезда с желтыми стрелами на бортах, сиденья мягкие: каждому — свое. Пассажиры сидели чинно. Белые поезда их облагородили.

— Не хочешь со мной на Навку сходить? Ледовое шоу, — говорила одна ухайдоканная тетка другой. — Я тот раз была, феерия.

— Может и ходила бы. Навка-то за этого выскочила, с усами, ну? Который путинский секретарь. Ничего мужчина, — отвечала та, более чем пятидесятилетняя, оштукатуренная поверх измождения. — Импозантный.

— Да ну его, — отмахивалась первая. — Навка и получше бы себе могла. Мне вот знаешь, кто нравится? Лавров. Лавров хороший. Я бы с Лавровым лично. Он и порешительней твоего усатого будет.

Илья слушал и ничего не понимал. Поезд медлил. Пустые кишки урчали, под ложечкой сосало. На привокзальный чебурек он денег пожалел: цены в ларьке были московскими, а транспортные ему выдавали соликамскими. Зачем тратиться на чебурек, когда скоро мамины щи горячие?

Очень захотелось этих щей. Трехдневных. Со сметанкой. Хлеба туда сухого покрошить, как в детстве, как дед показывал. Баланду навести. Притопить корки в супе, но не до мякиша, а чтобы чуть-чуть еще хрустко было, подышать щами — и, обжигаясь, ложку в рот.

Слюна пошла.

А мать будет сидеть углом к нему за их полуметровым столиком — и реветь, небось. Столько не виделись.

Первые четыре года она ездила к нему каждые шесть месяцев: все, что могла отложить со своей зарплаты, тратила на дорогу до Соликамска, на гостинцы к свиданиям. Потом стало шкалить давление, Илья в колонии вроде как обжился — и стал отговаривать ее от этих поездок. Стали обходиться звонками, хотя мать все порывалась приехать.

А последний год разговоры часто ее слезами кончались. Хотя чего уж было плакать, когда всего ничего оставалось, в сравнении с отбытым. А что он может ей сказать, когда рядом или вертухай, или, хуже, блатной, у которого Илья свою маму на минуту откупил? Так

что, как только она — в слезы, Илья сразу отбой давал. Нельзя было иначе. Понимает она это?

Ничего, сегодня пускай наплачется. Сегодня можно. Все кончилось.

* * *

— Станция Лобня!

На одном пути остановилась электричка, другой был по горизонт занят товарным составом: заиндевевшие цистерны с нефтепродуктами. Поверх инея шла роспись пальцем — «Крым наш», «Обама чмо», «14/88», «Виталик + Даша», «Мая радзіма — Мінск», и что-то еще. Илья читал механически, пока шагал к переходу. Крым случился, когда Илья был на зоне, и случился как-то мимо него. Зэки к Крыму были равнодушны, завоевания вертухайского государства их не колыхали. Зэки — оппозиция по определению. Поэтому колониям на выборах и голоса не дают.

До дома от станции решил пройти ногами. Нужно было все это в первый раз ногами пройти. Хотелось. Да и быстрее получится, чем маршрутку ждать.

В Лобне погода была другая. Это Москва жаром дышала, расплавленная машинной гарью. В Лобне воздух был прозрачней, морозней; с неба тут сыпало холодной солью, секло щеки. Тротуары не протаяли, вместо асфальта был всюду утопанный снег. Облепленные машины месили колесами бурю смесь. Блочные дома швами наружу стояли обветренные, невеселые. Люди были настороже. Накрашенные бледные женщины чесали с решимостью куда-то, студя обтянутые колготками ноги.

Полчаса всего электричкой от Москвы, а казалось — в Соликамск приехал.

Москва за семь лет постарела, а Лобня вот не изменилась ничуть: та же, что и когда забирали Илью. Та же, что и в его детстве. И Илья в Лобне был родной.

С Ленина свернул на Чехова. Там три улицы шли обрезками, с одной стороны в Ленина упираясь, а с другой — в Промышленную: Чехова, Маяковского и Некрасова. На Чехова стояла материна школа, восьмая. Материна — и его, Ильи.

Она его, конечно, к себе устроила, хотя рядом с домом — во дворах — была другая школа, четвертая. Туда удобнее было бы, ближе: до восьмой детскими шагами полчаса. Но мамка взяла под крыло. До седьмого класса вместе до школы ходили. Потом девчонки начали смеяться, и Илья стал сбегать из дома на десять минут раньше матери, чтобы доказать взрослость и независимость. С сигаретами тогда же началось.

Напротив школьного подъезда Илья замер. Желто-белая, блочная, трехэтажная, окна трехчастные, как дети у домиков рисуют — такая же школа, как у всех остальных в стране. Ее, кажется, ни разу не ремонтировали за последние лет двадцать, хранили для Ильи в первозданном виде. Чтобы легче все вспомнить было.

Дохнул поглубже. Посмотрел на окна: во втором этаже мелкие бегали. Продленка. Времени было три дня.

Мать из школы уже ушла.

Можно было бы прямо тут ее встретить, у ограды, если б поезд пораньше прибывал. И вместе обратно до дома по снегу, обычной дорогой — по шоссе, через переезд.

Но вместе с ней бы ведь и другие училки выходили бы. Завуч, мымра. Узнали бы Илью, конечно, несмотря на землистую кожу и обритые волосы. Столько лет вдалбливали ему в голову свои буквы и цифры... Узнали бы точно.

И что тогда? Как мать своим коллегам его посадку объясняла? Как он сам ей объяснил? Ей-то пришлось поверить: не в то же верить, что сын — наркоман и наркотиками торгует. А теткам всем этим школьным... Им верить в него без надобности. В глаза — покивают, поохают, а за глаза? Опозорил он мать перед всеми? Стали бы они с ним здороваться? А Илья — с ними?

Сунул руки в карманы, нахохлился, заспешил дальше. Чтобы не увидели, в самом деле. Встретимся попозже с ними со всеми, когда

придумаем, что говорить и как себя подавать. Встретимся рано или поздно. Маленький город — Лобня.

По Промышленной вдоль русских бетонных заборов он выбрался на Букинское шоссе, и двинул по обочине наперекор снегу, оскальзываясь, но не падая. Брезжил сквозь снег МФЮА, Вера тут училась.

У двадцать седьмого дома остановился еще раз.

Верин.

Серая шестнадцатизэтажка с желтыми застекленными лоджиями: так люди балконы называют, когда пытаются себе у жизни еще пару квадратных метров урвать. Илья насчитал седьмой этаж. Там Вера еще, интересно? Или уехала в Москву, как собиралась? Ей сейчас двадцать семь, как и Илье. Вряд ли еще с родителями живет.

Таких обшарпанных панельных шестнадцатизэтажек, как Верина, тут было три, они стояли особняком на краю массива. Снизу к ним прилепилось похожее на самострой небольшое красное кирпичное здание: совершенно неуместный здесь театр. Поверх второго этажа шли огромные, почему-то готические буквы — «КАМЕРНАЯ СЦЕНА». Илья прощупал их взглядом. Криво улыбнулся новому смыслу старого названия.

Театр всегда тут торчал и всегда так назывался, сколько Илья себя помнил, сколько ходил к этому дому Веру провожать и встречать. Репертуар: «Ваал», «Пришел мужчина к женщине», «Пять вечеров». Скоро новогодние елки.

Поежился. Среди этих панельных-кирпичных декораций накатывало его застиранное прошлое в полном цвете. Четче вспоминалось, чем хотелось бы вспомнить.

В десятом классе, в апреле, он сюда Веру пригласил. На «Горе от ума». Родители отпустили. Весь спектакль он гладил ее по коленке, слушал, как она дышит — рвано. Слушал и плыл. Сердце колотилось. Актеры бубнили что-то неслышно.

А Вера отвела его ладонь, и в искупление этого сцепилась с ним пальцами. Сладкие духи были у нее, со специей какой-то острой.